

100 великих романов

Иван ТУРГЕНЕВ

ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО



100 великих романов

Иван Тургенев

**Дворянское гнездо.
Отцы и дети (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1858, 1861

Тургенев И. С.

Дворянское гнездо. Отцы и дети (сборник) / И. С. Тургенев — «ВЕЧЕ», 1858, 1861 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-8731-0

Роман Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» – прекрасная и грустная история несостоявшейся любви, разбитых надежд главного героя, последнего представителя старинного дворянского рода. «Отцы и дети» – самый известный из всех романов Тургенева о вечном конфликте между молодостью, требующей перемен, и консервативностью зрелого возраста. Оба произведения были экранизированы талантливыми российскими кинорежиссерами Андреем Кончаловским и Авдотьей Смирновой.

ISBN 978-5-4444-8731-0

© Тургенев И. С., 1858, 1861

© ВЕЧЕ, 1858, 1861

Содержание

Живем ли мы для того, чтобы быть счастливыми?	6
Дворянское гнездо	8
I	8
II	10
III	12
IV	13
V	16
VI	18
VII	21
VIII	24
IX	28
X	30
XI	31
XII	34
XIII	36
XIV	37
XV	38
XVI	41
XVII	43
XVIII	46
XIX	48
XX	50
XXI	51
XXII	53
XXIII	54
XXIV	55
XXV	57
XXVI	61
XXVII	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

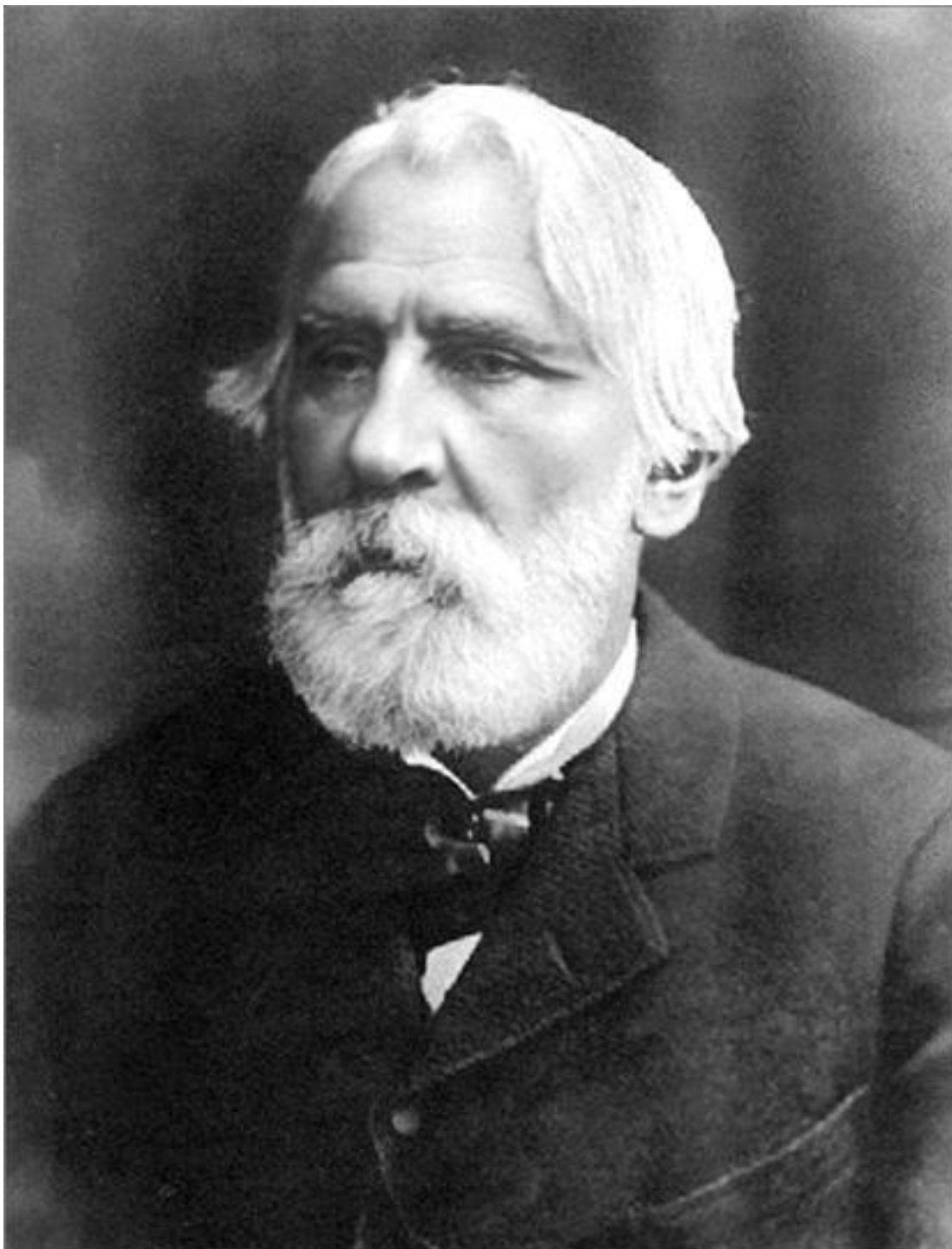
Иван Тургенев

Дворянское гнездо. Отцы и дети

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru



Иван Сергеевич Тургенев

Живем ли мы для того, чтобы быть счастливыми?

Всякий роман – это такая «печка», у которой можно погреться. В нее подбрасываются дрова или угли – любовь, деньги, честолюбие, месть и т. п. Не так много видов «горючего» – страстей и мотивов, движущих поведением людей. Так почему же какие-то из романов остаются надолго или навсегда, если все романисты пишут об одном и том же – о человеческой жизни? Что «несгораемое» зацепил Иван Тургенев (1818–1883) в своих лучших романах, «Дворянском гнезде» и «Отцах и детях»?

Ну, во-первых, сам этот образ неизбежного разорения родительских гнезд (не только «дворянских»), известный всякому пожившему человеку. В русской литературе именно Тургенев заложил один из краеугольных камней нашего самосознания, на который не отзовется только омертвелое сердце. Прямая дорожка отсюда к поэтике помещичьего быта у Толстого, к «Вишневному саду» Чехова, к «Дням Турбиных» Булгакова – ко всем «домам», где тикают ходики, пьется чай, ведутся разговоры о том да сем и ни о чем, а тем временем «разбиваются сердца». За что классическую русскую литературу так любят и ценят не только у нас, но и во всем мире.

Тургенев оказался предельно чуток не только к музыке времени, в чем и состоит обаяние его прозы, но и к так называемому духу времени, отчего споры о его творчестве были горячи не только при его жизни, но ощутимы по сей день. Это он вывел драматизм смены поколений в общественной жизни на концептуальный уровень в своем романе «Отцы и дети». Замечательно, что сделано это было им без всякого теоретизирования на характерных примерах неоднозначных, непоследовательных, очень жизненных персонажей. Нигилист, не верящий ни во что, кроме химии, признается в безответной любви и умирает от нее (заражение крови – не причина, а результат). Роль Базарова мог бы сыграть и якобы хотел Маяковский. Любезная сердцу «западника» Тургенева англomanия отца Лаврецкого оказывается шелухой, как и убеждения всех трех Кирсановых, а либерализм будущих «бесов» – провинциальным обезьянничаньем.

Но ни капли зла не было в сердце Ивана Сергеевича. Он не желал быть судьей, более того – желал усидеть на всех стульях сразу, а на таких сыплются тумачи со всех сторон.

Гончаров обвинял его в плагиате, Толстой хотел с ним стреляться, Достоевский костерил, что зажмурился во время публичной смертной казни. Все ценили его чрезвычайно высоко, но не прощали ему поверхностности, безволия, мягкотелости. Притом что Тургенев был едва ли не самым знаменитым русским охотником XIX века, держал свору из ста тридцати гончих и борзых, хотя коньком его была охота на птицу. Он и с мужем Полины Виардо познакомился на охоте, после чего 38 лет прожил в странном семейном союзе «на краю чужого гнезда», по собственному выражению.

Конфигурация его психики была задана деспотичной матерью. И этот красивый, сильный, умный человек был обречен большую часть жизни оставаться подкаблучником, отягощенным чувством вины. Таковы и его виктимные герои, жертвы то есть жизненных обстоятельств и собственного выбора, – Лаврецкий, Лиза Калитина. Что очень по-русски, между прочим, и даже Достоевского умилило (которого Тургенев считал нашим маркизом де Садом).

Особая статья – так называемые «тургеневские девушки», предельно идеализированные, что также было очень по-русски. Пока не пришли Лесков, Чехов, Бунин, Набоков. Да и у самого Тургенева встречались другие героини, только читающая публика знать их не хотела. А вот безвольных героев всячески приветствовала, чтобы побольнее укусить царизм, который и сам Тургенев презирал и ненавидел. Царь-Освободитель, кстати, находился под большим впечатлением от его «Записок охотника», что делает честь писателю, царю и русскому закрепощенному народу.

Удивительно, добрые и точные слова нашел язвительный Салтыков-Щедрин для выражения сути тургеневской прозы, после прочтения которой «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется», так что «мысленно благословляешь и любишь автора» за то впечатление, которое «оставляют после себя эти прозрачные, словно сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом...». Прямо стихотворение в прозе какое-то о возможности счастья в жизни.

Игорь Клех

Дворянское гнездо

I

Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины: одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, – человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, – умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньги. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О..., в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы, и в то же время Калитин приобрел дом в городе О..., где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, – решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, – в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О...

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голосом. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

– О чем ты это? – спросила она вдруг Марью Дмитриевну. – О чем вздыхаешь, мать моя?

– Так, – промолвила та. – Какие чудесные облака!

– Так тебе их жалко, что ли?

Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

– Что это Гедеоновский нейдет? – проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала большой шерстяной шарф). – Он бы повздыхал вместе с тобою, – не то соврал бы что-нибудь.

– Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович – почтенный человек.

– Почтенный! – повторила с укоризной старушка.

– И как он покойному мужу был предан! – проговорила Марья Дмитриевна. – До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

– Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил, – проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

– Глядит таким смиренным, – начала она снова, – голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну и то сказать: попovich!

– Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

– Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит, – эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, – прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. – Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

– Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

– Уж вы, тетушка, всегда... – пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

– Сергей Петрович Гедеоновский! – пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

II

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках – одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблучков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил:

– А Елизавета Михайловна здоровы?

– Да, – отвечала Марья Дмитриевна, – она в саду.

– И Елена Михайловна?

– Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?

– Как не быть-с, как не быть-с, – возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. – Гм!.. да вот пожалуйста, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.

– Федя! – воскликнула Марфа Тимофеевна. – Да ты, полно, не сочинишь ли, отец мой?

– Никак нет-с, я их самолично видел.

– Ну, это еще не доказательство.

– Очень поздоровели, – продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, – в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.

– Поздоровел, – произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, – кажется, с чего бы ему здороветь?

– Да-с, – возразил Гедеоновский, – другой на его месте и в свет-то показаться посове- стился бы.

– Это отчего? – перебила Марфа Тимофеевна, – это что за вздор? Человек возвратился на родину – куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

– Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

– Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

– Позвольте полюбопытствовать, – спросил он после небольшого молчания, – кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

– А тому назначается, – возразила она, – кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, – прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. – А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне; я уйду, мешать не буду. – И Марфа Тимофеевна удалилась.

– Вот она всегда так, – проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами, – всегда!

– Лета ихние! Что делать-с! – заметил Гедеоновский. – Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препотенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал: что нонеча, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается – все норovit, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав- то у вас истинно ангельский; пожалуйста-ка мне вашу белоснежную ручку.

Марья Дмитриевна слабо улыbnулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

– Так видели вы его? В самом деле он – ничего, здоров, весел?

– Весел-с, ничего-с, – возразил Гедеоновский шепотом.

– А не слышали вы, где его жена теперь?

– В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.

– Это ужасно, право, – Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.

Гедеоновский вздохнул.

– Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пиянистами, и как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно...

– Очень, очень жалко, – проговорила Марья Дмитриевна. – По родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.

– Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.

– Придет он к нам, как вы думаете?

– Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.

Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.

– Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!

– Женщина женщине розь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие – нрава непостоянного... ну и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но вообще говоря, если рассудить, то есть... Пыль в городе необыкновенная, – заключил он.

– Мапан, тапан, – вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати, – к нам Владимир Николаич верхом едет!

Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», – проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.

– Какая у него чудесная лошадь! – продолжала девочка. – Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.

Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.

III

– Здравствуйте, Марья Дмитриевна! – воскликнул звучным и приятным голосом всадник. – Как вам нравится моя новая покупка?

Марья Дмитриевна подошла к окну.

– Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

– У ремонтера... Дорого взял, разбойник.

– Как ее зовут?

– Орландом... Да это имя глупо; я хочу переменить... Eh bien, eh bien, mon garçon...¹ Какой неугомонный!

Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.

– Леночка, погладите ее, не бойтесь...

Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.

– Prenez garde, prenez garde², – твердила Марья Дмитриевна.

– Леночка, поласкайте его, – возразил всадник, – я не позволю ему вольничать.

Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.

– Bravo! – воскликнула Марья Дмитриевна. – А теперь слезьте и придите к нам.

Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая черноволосая девушка лет девятнадцати – старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.

¹ Ну, ну, мой мальчик... (фр.)

² Осторожнее, осторожнее (фр.).

IV

Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних дел. В город О... он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях – можно, *c'est même très chic*³, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володьке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов; где нужно – почтителен, где можно – дерзок, отличный товарищ, *un charmant garçon*⁴. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, – не хуже отца; но он был также очень даровит. Все ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О... и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.

Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.

³ Это – самый шик (*фр.*).

⁴ Очаровательный малый (*фр.*).

– И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? – спросила его Марья Дмитриевна.

– Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.

Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успеваешь молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

– Вы изволите говорить, что я обыграл вас, – промолвил Гедеоновский, – а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще...

– Злодей, злодей, – перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.

– Я не мог найти здесь увертюру Оберона, – начал он. – Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, – на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати, – продолжал он, – я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат, – я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.

– Зачем же после? – вмешалась Марья Дмитриевна, – отчего же не теперь?

– Слушаю-с, – промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг, – пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:

Луна плывет высоко над землею
Меж бледных туч;
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
Своей луной,
И движется – и в радости и в горе —
Тобой одной.

Тоской любви, тоской немых стремлений
Душа полна;
Мне тяжело... Но ты чужда смятений,
Как та луна.

Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело...» – он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос – *morendo*⁵. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия, и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом,

⁵ Замирая (*um.*).

всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съезжил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.

– А! Христофор Федорыч, здравствуйте! – воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. – Я и не подозревал, что вы здесь, – я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.

– Я не слушал, – произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.

– Вы, мосье Лемм, – сказала Марья Дмитриевна, – пришли дать урок музыки Лизе?

– Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.

– А! Ну что ж – прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.

Старик пошел было вслед за девочкой; но Паншин остановил его.

– Не уходите после урока, Христофор Федорыч, – сказал он, – мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки.

Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:

– Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, – прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку, – напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется, – сказала она, – еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза: она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.

V

Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде – и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой; но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, – словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О... и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели ключьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музыкуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем – кто знает? – стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку – и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело, как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, – да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм наконец махнул рукой на все; притом и годы брали свое: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О... в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал Библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин.

Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам при-сочинил. Ее пели два хора – хор счастливых и хор несчастных; оба они к концу примири-лись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разри-сованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, Х.Т.Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, für Sie allein». – Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.

VI

Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально.

– Что с вами? – спросил он.

– Зачем вы не сдержали своего слова? – сказала она. – Я вам показала кантату Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.

– Виноват, Лизавета Михайловна, – к слову пришлось.

– Вы его огорчили – и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.

– Что прикажете делать, Лизавета Михайловна! От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.

– Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец, бедный, одинокий, убитый человек – и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?

Паншин смутился.

– Вы правы, Лизавета Михайловна, – промолвил он. – Всею виною – моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.

Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

– Вот и в вашем доме, – продолжал он, – матушка ваша, конечно, ко мне благоволит – она такая добрая; вы... Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?

– Да, – произнесла Лиза с небольшой запинкой, – вы ей не нравитесь.

Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.

– Ну, а вы? – промолвил он, – я вам тоже кажусь эгоистом?

– Я вас еще мало знаю, – возразила Лиза, – но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам...

– Знаю, знаю, что вы хотите сказать, – перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам, – за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать – и все-таки быть эгоистом. Смее думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я – как бишь это сказано? – для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.

– Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, – промолвила Лиза, – вот и всё.

Паншин немного нахмурился.

– Послушайте, – сказал он, – не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, – прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитре тетради, – думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом – так и быть! но не называйте меня светским человеком; эта кличка мне нестерпима... *Anch'io sono pittore*⁶. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, – я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.

– Начнем, пожалуй, – сказала Лиза.

⁶ И я тоже художник (*ит.*).

Первое *adagio* прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты – довольно быстрое *allegro* – совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.

– Нет! – воскликнул он, – я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал: он бы в обморок упал.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.

– Что же мы будем делать? – спросила она.

– Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. А ось другая муза – муза рисования, как бишь ее звали? позабыл... будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.

Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.

– Ага! – воскликнул он, – я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж – и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только – дайте-ка карандаш – не довольно сильно положены тени. Смотрите.

И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.

– В рисунке, да и вообще в жизни, – говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, – легкость и смелость – первое дело.

В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.

– Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?

– Мне домой, – проговорил Лемм угрюмым голосом, – голова болит.

– Ну, что за пустяки, – останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.

– Голова болит, – повторил старик.

– А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату, – продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, – но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.

– Вы бы опять спел сфой романце лутчи, – возразил Лемм, отводя руки Паншина, и вышел вон.

Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.

– Христофор Федорыч, послушайте, – сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, – я виновата перед вами – простите меня.

Лемм ничего не отвечал.

– Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее оценит, – и она точно очень ему понравилась.

Лемм остановился.

– Это ничего, – сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: – Но он не может ничего понимать: как вы этого не видите? Он дилетант – и все тут!

– Вы к нему несправедливы, – возразила Лиза, – он все понимает, и сам почти все может сделать.

– Да, все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен – ну и браво. А я не сержусь; эта кантата и я – мы оба старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.

– Простите меня, Христофор Федорыч, – проговорила снова Лиза.

– Ничего, ничего, – повторил он опять по-русски, – вы добрая девушка... а вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.

И Лемм уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему (он кланялся всем новым лицам в городе О...; от знакомых он отворачивался на улице – такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивленьем посмотрел ему вслед и, взглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.

VII

– Вы меня не узнаете, – промолвил он, снимая шляпу, – а я вас узнал, даром что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?

– Матушка будет очень рада, – возразила Лиза, – она слышала о вашем приезде.

– Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой? – промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.

– Да.

– Я помню вас хорошо; у вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь; я вам тогда возил конфеты.

Лиза покраснела и подумала: какой он странный! Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина; он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.

– Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin!⁷ – воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. – Как я рада вас видеть!

– Здравствуйте, моя добрая кузина, – возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. – Как вас Господь милует?

– Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иваныч. Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь, Лизу...

– Я уж сам отрекомендовался Елизавете Михайловне, – перебил ее Лаврецкий.

– Мсье Паншин... Сергей Петрович Гедеоновский... Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?

– Как изволите видеть: процветаю. Да и вы, кузина, – как бы вас не сглазить, – не похудели в эти восемь лет.

– Как подумаешь, сколько времени не видались, – мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. – Вы откуда теперь? Где вы оставили... то есть я хотела сказать, – торопливо подхватила она, – я хотела сказать, надолго ли вы к нам?

– Я приехал теперь из Берлина, – возразил Лаврецкий, – и завтра же отправляюсь в деревню – вероятно, надолго.

– Вы, конечно, в Лавриках жить будете?

– Нет, не в Лавриках; а есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я туда еду.

– Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?

– Та самая.

– Помилуйте, Федор Иваныч! У вас в Лавриках такой чудесный дом!

Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови.

– Да... но и в той деревушке есть флигелек; а мне пока больше ничего не нужно. Это место – для меня теперь самое удобное.

Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустила на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко; но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот наконец не вытерпел и довольно резко спросил ее: здорова ли она?

⁷ Кузен (*фр.*).

– Слава богу, – возразила Марья Дмитриевна, – а что?

– Так, мне показалось, что вам не по себе.

Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, – подумала она, – мне совершенно все равно; видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась; вслух она говорила изящнее.

Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навывкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно.

Паншин между тем продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом.

– А ведь это Федя! – раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. – Федя, точно! – И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. – Покажи-ка себя, покажи-ка, – промолвила она, отодвигаясь от его лица. – Э! да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел нисколько, право. Да что ты руки у меня целуешь – ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой! Ну, да это все равно; где тебе было обо мне вспомнить! Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, – прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, – угостила ты его чем-нибудь?

– Мне ничего не нужно, – поспешно проговорил Лаврецкий.

– Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи Боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойдй похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит.

– Мое почтение, Марфа Тимофеевна, – промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.

– Извините меня, государь мой, – возразила Марфа Тимофеевна, – не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку, – продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому, – только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну – и надолго ты к нам?

– Я завтра еду, тетушка.

– Куда?

– К себе, в Васильевское.

– Завтра?

– Завтра.

– Ну коли завтра, так завтра. С Богом, – тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься. – Старушка потрепала его по щеке. – Не думала я дожидаться тебя; и не то чтоб я умирать собиралась; нет – меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Паншину (она никогда не называла его, как следовало, Паншиным) рассуждать помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные

– не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.

Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.

* * *

В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, уловив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно ездю в ваш дом; к чему тут слова, когда и так все ясно». Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала... Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.

VIII

Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца: это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей – дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреича была смиренница; он взял ее из соседнего семейства, по отцовскому выбору и приказанию; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают – не отмоешь потом; а в гости без пудры нельзя – обидятся, – мұка! Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу: а все свое приданое, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей: сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего m-г Courtin de Vaucelles, ловкого и тонкого проныру, – самую, как она выражалась, *fine fleur*⁸ эмиграции, – и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого финь-флёра; перевела на его имя все свое состояние и вскоре потом, раздумянная, раздуженная амброй a la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV, с эмалевой табакеркой работы Петито в руках, – и умерла, оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар – мы говорим о браке княжны, не об ее смерти – над ним разразился; он не захотел остаться в теткинском доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика; в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (все это происходило в самом

⁸ Самый цвет (фр.).

начале царствования императора Александра); пришлось ему поневоле вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем, – говаривал он, – за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой! А все оттого, что Волтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. Петр Андреич не ошибался: точно, и Дидерот и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни – и Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, и много других, подобных им, сочинителей сидели в его голове, – но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением... Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял; он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, углаватыми быстрыми движениями напоминала свою бабуку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения: она и по скупости вышла в бабуку. Сверх того, Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?»⁹. Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки; невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаась вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого разу приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться – и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей; весть об этой связи дошла наконец до самого Петра Андреича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам: Маланью заперли в чулан; Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве; кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказаньем, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене, – подумал он, – так пушу же я его в

⁹ «Здравствуйте»... – «как вы поживаете?» (фр.)

дело, постоит; я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно – готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение; но тотчас же опомнился и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался à la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосиные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока наконец перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. . . «Стой, мошенник! – вопил он, – стой! прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскивали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов, с своею сестрой, уже знакомою читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца; но ответа не пришло, – и прийти не могло. Петр Андреич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича; только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала пятьсот рублей ассигнациями да образок его жене; написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по шестидесяти верст, чтоб он не очень огорчался, что, Бог даст, все устроится и отец переложит гнев на милость; что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новою барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал восвояси.

А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенскою жизнью, а главное – не выдал своих наставников, действительно «пустил в ход» и оправдал на деле Руссо, Дидерота и la Déclaration des droits de l'homme¹⁰. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано; надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло: княжна Кубенская, – которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, – чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей – едва ли не последние свои денежки –

¹⁰ Декларацию прав человека (фр.).

да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем (пароходов тогда еще в помине не было) уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк; но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича: он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств: он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис (классические названия еще процветали в то время); Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.

IX

Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу; если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбрав его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою; но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи! Не смей! – твердил Петр Андреич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. – Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил; покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна, при таких страшных речах, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреич сначала и слышать о ней не хотел и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить; но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родильницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреич молча поглядел на нее; она подошла к его руке; ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй.

– Ну, сыромолотная дворянка, – проговорил он наконец, – здравствуй; пойдем к барыне.

Он встал и нагнулся к Феде; ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло.

– Ох, – промолвил он, – сиротливый! Умолил ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчик.

Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить...

– Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, – промолвил Петр Андреич, – не печалься: она останется у нас, и Ваньку для нее помилую.

Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало.

Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его; подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась: она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею.

Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось; она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой, – и какую еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее работой. Да и

где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтоб Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были... но Федю у нее отняли: вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него; Глафира взялась за это дело; ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее; сам Петр Андреич желал видеть своего сына; но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре – и не ехал. Двенадцатый год вызвал его наконец из-за границы. Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах; не до того было тогда: вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась; Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его; она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись: муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феде. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения; с той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончилось свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Маланье Сергеевне ее горничные да еще Петр Андреич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости-прощай, моя безответная!» – прошептал он, кланяясь ей в последний раз, в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу.

Он сам недолго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился тогда в Париже, для своего удовольствия; он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решил вернуться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло двенадцать лет и наступило время серьезно заняться его воспитанием.

Х

Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – все в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но – чудное дело! – превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и т. д. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, – отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе их пострадали две старухи, одна – слепая, другая – разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого, по причине его действительно замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики; завтрак стал иначе подаваться; иностранные вина изгнали водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась подпись: «in recto virtus...»¹¹ В сущности же, власть Глафиры несколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря на то что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – все осталось по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу: патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде: воспитание его действительно подверглось «коренному преобразованию»: отец исключительно занялся им.

¹¹ В законности – добродетель (*лат.*).

XI

До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже было сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием: «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием: «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка», означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечения он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку с своими «Эмблемами» – сидит... сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дигятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружающих его... Горе сердцу, не любившему смолоду!

Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme¹², – сказал он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски; двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день

¹² Человека (фр.).

по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его *mon fils*¹³ и говорил ему *vous*¹⁴. По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, посетила путаницу в его голове, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благотельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым.

Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило. Вольнодумец – начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец – стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленной волей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме; опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к «старой колотовке», – так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвободиться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет, – неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день.

Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; все остальное время он ни себе, ни кому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних, чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы всё врете – экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне; он решительно не мог обойтись без нее – и она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы.

¹³ Мой сын (фр.).

¹⁴ Вы (фр.).

Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша, Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур...» – пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовоновый и зеленый, весь блестящий в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.

XII

Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведывание хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебрало в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он втайне чувствовал себя чужаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же наконец он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми: двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здоровом, но несколько тяжелом, при его склонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении... И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, – и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей; они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе.

Однажды, в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку, – и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилося. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстухе, с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем, как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу: она вся

наклонилась вперед, щеки ее пылали; под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем... Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась наконец искусственно возведенная плотина: он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой, – воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе, – эта девушка – изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он с своею робостью; на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, – и оба отправились к Коробьиным.

XIII

Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фрунтови́ком, находился, по бедности, адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров; тянул, тянул ляжку и наконец годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить не спеша свое благосостояние; он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело: он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги, – средство оказалось отличное, но он не вовремя поспешил: на него донесли; вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула: ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место; но место на него не насаживало; дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем... Скрепя сердце решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя две тысячи семьсот пятьдесят рублей в год. Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок, с косицами крашенных волос и засаленной анненской лентой на галстухе цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе; говорил мало, но, по старой привычке, в нос, – конечно, не с лицами чинов высших; осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего; звали ее Каллиопой Карловной; из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна (притом же она была немецкого происхождения) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из ...ского института, где считалась если не первой красавицей, то уж наверное первой умницей и лучшей музыкантшей и где получила шифр; ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидал ее в первый раз.

XIV

Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушеввалась; что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбающихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, – и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски-проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда; Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали; за столом генерал потчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Дебре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить; все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом; вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято; генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат; а Каллиопа Карловна подумала: «*Meine Tochter macht eine schöne Partie*»¹⁵ – и купила себе новый ток.

¹⁵ «Моя дочь делает прекрасную партию» (нем.).

XV

Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет: кто ж выходит за студента, да и что за странная мысль – помещику, богатому, в двадцать шесть лет брать уроки, как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда, тотчас после свадьбы, он вдвоем с женою отправился в удобной, ею купленной каретке, в Лаврики. Как всё, что окружало его, было обдуманно, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной! Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам! Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений: он блаженствовал, упивался счастьем; он предавался ему, как дитя. . . Он и был невинен, как дитя, этот юный Алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений; она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову; она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником; она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо, – сказала она, и глаза ее потемнели, – я вижу, что я здесь лишняя! Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин и, с приятною меланхолией во взглядах и движениях, принял управление всем имением на свои руки.

В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге (на лето они переселялись в Царское Село), в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире; много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Иванычу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу; он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться, – и с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению недоконченное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к

изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть куда), а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, – и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла премиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа; мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея; приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями; все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурились глаза; белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, – и как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и *la belle madame de Lavretzki*¹⁶ скоро стала известна от *Chaussée d'Antin* до *Rue de Lille*¹⁷. В те времена (дело происходило в 1836 году) еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто м-г Jules, неблагоприятной наружности господин, с скандальной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот м-г Jules был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то *m-me de L...tzki*, то *m-me de... cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P...*¹⁸; рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до *m-me L...tzki*, как эта дама, настоящая по уму француженка (*une vraie française par l'Ésprit*) – выше этого у французов похвал нет – мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует (Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)... словом, пускал о ней молву по миру – а ведь это, что ни говорите, приятно. Девушка Марс уже сошла тогда со сцены, а девушка Рашель еще не появлялась; тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост – прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иваныч, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах, – тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в *Sorbonne* и *Collège de France*, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени, – думал он, – все это полезно; но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и Бог знает, удалось ли бы

¹⁶ Очаровательная мадам Лаврецкая (*фр.*).

¹⁷ От шоссе д, Антэн до улицы Лилль (*фр.*).

¹⁸ Г-жа..., эта знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П... (*фр.*).

ему вернуться в Россию к зиме; пока он ехал с женою в Баден-Баден... Неожиданный случай разрушил все его планы.

XVI

Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидел на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке:

«Милый ангел Бетси! (я никак не решаюсь назвать тебя *Barbe* или Варвара – *Varvara*). Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра в половине второго на нашу квартиру. Твой добрый толстяк (*ton gros bonhomme de mari*) об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта *Пушкина* (*de votre poète Pouskine*), которой ты меня научила: «Старый муж, грозный муж!» – Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя.

Эрнест».

Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел; прочел во второй раз – и голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.

Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный из всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса; Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал... и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения; Варвара Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновение он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его; он мог только прошептать: «Бетси» – и выбежал из дому.

Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, – зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате; он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним! «Ничего не понимаю! – шептали его засохшие губы. – Кто мне поручится теперь, что в Петербурге...» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали: ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела: «Старый муж, грозный муж!» Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик», – да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так, вздор какой-то; что стоит только встряхнуться, оглянуться... Он оглядывался, и, как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом... Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена.

Он вернулся наконец в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку г-на Эрнеста с следующим письмом:

«Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати скажу вам, что я не узнал вас: вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. (Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов.) Я не могу больше вас видеть; полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам пятнадцать тысяч франков в год; больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте что хотите; живите где хотите. Желая вам счастья. Ответа не нужно».

Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе... но он ждал, он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; последние его сомнения исчезли – и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидеть его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже: но он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию; ему, в сущности, было все равно, куда ни ехать, – лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков; живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и, при всем своем горе, почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность; Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом италийском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден; имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование; очень гадко сделалось на душе Федора Иваныча при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь; месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалованья. Потом стали ходить все более и более дурные слухи; наконец с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено: Варвара Павловна стала «известностью».

Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, все бы отдал, даже, пожалуй... простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло даром. Он не был рожден страдальцем; его здоровая природа вступила в свои права. Много стало ему ясно; самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным; он понял свою жену, – близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстаешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением: скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года четыре, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О..., где мы расстались с ним и куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами.

XVII

На другое утро, после описанного нами дня, часу в десятом Лаврецкий всходил на крыльцо калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках.

– Куда вы? – спросил он ее.

– К обедне. Сегодня воскресенье.

– А разве вы ходите к обедне?

Лиза молча, с изумлением посмотрела на него.

– Извините, пожалуйста, – проговорил Лаврецкий, – я... я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню.

– Ведь это отсюда недалеко? – спросила Лиза.

– Верст двадцать пять.

На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной.

– Смотрите, не забывайте нас, – промолвила Лиза и спустилась с крыльца.

– И вы не забывайте меня. Да послушайте, – прибавил он, – вы идете в церковь: помолитесь кстати и за меня.

Лиза остановилась и обернулась к нему.

– Извольте, – сказала она, прямо глядя ему в лицо, – я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка.

В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычною своею томной любезностью и понемногу разговорилась.

– Не правда ли, – спросила она его, – какой Владимир Николаич приятный молодой человек!

– Какой это Владимир Николаич?

– Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились; я вам скажу по секрету, *mon cher cousin*¹⁹, он просто без ума от моей Лизы. Что ж? Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божия... я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая; конечно, от родителей зависит счастье детей, да ведь и то сказать: до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь все я, везде я одна, как есть: и воспитала-то детей, и учила их, все я... я вот и теперь мамзель от госпожи Болюс выписала...

Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню.

– А Лиза как вам нравится? – спросила она.

– Лизавета Михайловна прекраснейшая девица, – возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной».

Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу: из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти, с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти, в белом чепце и коричневой кургузой кацавейке на темном платье, по имени

¹⁹ Мой дорогой кузен (*фр.*).

Настасья Карповны Огарковой. Шурочка была мешаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску: и собачонку и девочку она нашла на улице; обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь; за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам недоедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карловной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье, в монастыре; сама подошла к ней в церкви (она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась), сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карловна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок; голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными, добрыми чертами и несколько смешным, вздернутым носом; она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем: она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капитал состоял из тысячи двухсот рублей ассигнациями; она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге: Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастья.

– А! Федя! – начала она, как только увидела его. – Вчера вечером ты не видел моей семьи: полюбуйся. Мы все к чаю собрались; это у нас второй, праздничный чай. Всех поласкать можешь; только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?

– Сегодня. – Лаврецкий присел на низкое стульце. – Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я и Лизавету Михайловну видел.

– Зови ее Лизой, отец мой, что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул ломаешь.

– Она к обедне шла, – продолжал Лаврецкий. – Разве она богомольна?

– Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя.

– А вы разве не богомольны? – заметила, пришепetyвая, Настасья Карловна. – И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете.

– Ан нет, – ты одна пойдешь: обленилась я, мать моя, – возразила Марфа Тимофеевна, – чаем уж очень себя балую. – Она говорила Настасье Карловне «ты», хотя и жила с ней на ровной ноге – недаром же она была Пестова: трое Пестовых значатся в синодике Ивана Васильевича Грозного: Марфа Тимофеевна это знала.

– Скажите, пожалуйста, – начал опять Лаврецкий, – мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом... как бишь его?.. Паншине. Что это за господин?

– Экая она болтушка, прости Господи! – проворчала Марфа Тимофеевна. – Чай, под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим попovichем; нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу! а она уже болтает.

– Почему же слава богу? – спросил Лаврецкий.

– А потому, что молодец мне не нравится; да и чему тут радоваться?

– Не нравится он вам?

– Да, не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карловна в него влюблена.

Бедная вдова вся всполошилась.

– Что вы это, Марфа Тимофеевна, Бога вы не боитесь! – воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее.

– И ведь знает, плут, – перебила ее Марфа Тимофеевна, – знает, чем ее прельстить: табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать; ты увидишь, табакерка какая славная: на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся.

Настасья Карловна только руками отмахивалась.

– Ну а Лиза, – спросил Лаврецкий, – к нему равнодушна?

– Кажется, он ей нравится, а впрочем, Господь ее ведаёт! Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу – поди разбери! Зачем она прячется, а не уходит, с тех пор как ты пришел?

Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места.

– Да, – промолвил он с расстановкой, – девичью душу не разгадаешь.

Он стал прощаться.

– Что ж? Скоро мы тебя увидим? – спросила Марфа Тимофеевна.

– Как придется, тетушка: тут ведь недалеко.

– Да, ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках – ну, это твое дело; только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу кстати. Ты там, за границей, всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить; вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была; ну и тебя не обидела. А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем.

И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника.

– А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся; не такого мужа она стоит.

– Да я нисколько и не беспокоюсь, – отвечал Лаврецкий и удалился.

XVIII

Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расплзались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы – вся эта, давно им невиданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну – и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну – и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе.

«Вот, – подумал он, – новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет? Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушает со вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Победит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну». И Лаврецкий закрыл глаза.

Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, Бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле... о французской истории... о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом; ему чудились выстрелы и крики... Голова его скользила набок, он открывал глаза... Те же поля, те же степные виды; стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра... «Хорош возвращаюсь я на родину», – промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» – запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Тарантас толкнуло: Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька; немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком; по широкому двору, от самых ворот, росла крапива, зеленая и густая, как конопля; тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское.

Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей; лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал: «Гей!» Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось; лакей снова приготовился соскочить и снова закричал: «Гей!» Повторился дряхлый лай, и, спустя мгновенье, на двор, неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане, с белой, как снег, головой; он посмотрел, защищая глаза от солнца, на таран-

тас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги, на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку.

– Здравствуй, здравствуй, брат, – проговорил Лаврецкий, – тебя, кажется, Антоном зовут? Ты жив еще?

Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс.

«Вот я и дома, вот я и вернулся», – подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим и дневной свет проникал в опустелые покои.

XIX

Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых, вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна: с самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было: тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена; в гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда, Андрея Лаврецкого; темное, желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона; небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век; черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», – доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать, под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи; горка полинялых подушек и стеганое жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ Введение во храм пресвятой богородицы, тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева, с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почерневшей позолотой, стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка, с голыми стенами и тяжелым киотом в угле; на полу лежал истертый, закапанный воском коверчик; Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай; на место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови; голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в то же время – какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь; оказалось, что ее звали Апраксеей; лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей; впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукый бестягольный мужичонка; он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что; не многим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого: она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своею громадностью и странным расположением сучьев; они были слишком тесно посажены и когда-то – лет сто тому назад – стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни гложут очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской, беспокойной заразы. Федор Иваныч прошелся также по деревне; бабы глядели на него с порогу своих изб, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему наконец захотелось есть; но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру; обоз с провизией из Лавриков еще не прибывал, – пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился: поймал, зарезал и ощипал старую курицу; Апраксея долго терла и мыла ее, стирая ее, как белье, прежде чем положила ее

в кастрюлю; когда она наконец сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку аплике о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком; потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, – и сам стал за его стулом, обернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий, древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу; кожа ее была вся покрыта крупными пупырушками; толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если... «Сею минуто-с подам-с», – перебил его старик – и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки; сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки; он еще с детства помнил эту чашку: игорные карты были изображены на ней, из нее пили только гости, – и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга; Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати; он велел постлать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу; он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте; ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах; он долго шептался с Апраксеей, охал вполголоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное имение с отлично устроенной усадьбой; они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому; она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей, давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, – и сладко спалось старику.

XX

На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, – и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», – сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит; сквозь дружное, назойливо жалобное жужжанье мух раздается гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрипят ворота. «Чего?» – задрезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик», – говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. «Квас неси», – повторяет тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто входит в ее круг, – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицины слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, – продолжает думать Лаврецкий, – пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, – и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе как весенний снег, – и странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины.

XXI

В течение двух недель Федор Иваныч привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад; из Лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы; на конюшне появились лошади; словом, Федор Иваныч обзавелся всем нужным и начал жить – не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно; но он не скучал, хотя никого не видел; он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало: ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну; Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок; когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь, – жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, – так всё вырубил да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон много о своей госпоже, Глафире Петровне: какие они были рассудительные и бережливые; как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю-левантина; но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос: «Что, мол, должён быть у вас, сударыня, капитал?» – приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины, до самомалейшей тряпицы, было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю-левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреич, вписывал – то «Празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александр Александровичем Прозоровским»; то рецепт грудного *декохта* с примечанием: «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальныея троицы Феодора Авксентьевича»; то политическую новость следующего рода: «О тиграх французах что-то замолкло», – и тут же рядом: «В Московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли Васильевича Колычева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение г. Амбодика; много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы». В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье, с белым розаном в руке, – его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иваныч, – говорил Лаврецкому Антон, – хоша и в господских хоробах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея Афанасьевича, помню, как же: мне, когда они скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, – так даже поджилки затряслись; однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить – и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная така ладонка; с Афонской горы им монах ту ладонку подарил. И сказал он ему этта монах-то: «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю, носи – и суда не бойся». Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена: что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плава-

ешь», – самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженный памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых; а что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был: из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, – а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще, спасибо, Глафира Петровна порадела».

– А правда ли, – перебивал его Лаврецкий, – ее старой колотовкой звали?

– Да ведь кто звал! – возражал с неудовольствием Антон.

– А что, батюшка, – решился спросить однажды старик, – что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?

– Я развелся с женою, – проговорил с усилием Лаврецкий, – пожалуйста, не спрашивай о ней.

– Слушаю-с, – печально возразил старик.

По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О... к Калитиным и провел у них вечер. Лемм был у них; он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо; Лемм оживился, расхотелся, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать; по ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лемм много говорил; сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблестали; самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий видимо интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло; он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера: «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лемм, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку; но, оставшись один, на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съезжился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Ich bin wohl nicht klug (я не в своем уме)», – про- бормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказать больным, когда, несколько дней спустя, Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иваныч вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепьяно из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков; Лаврецкий смеялся, но Лемм не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фыркание лошадей – все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.

XXII

Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинения и, полушутя, предложил ему написать для него либретто.

– Гм, либретто! – возразил Лемм. – Нет, это не по мне: у меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы; я уже теперь лишился сил моих... Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом; конечно, я желал бы хороших слов...

Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.

– Например, – проговорил он наконец, – что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы, чистые звезды!..

Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.

– Вы, звезды, чистые звезды, – повторил Лемм... – Вы взираете одинаково на правых и на виновных... но одни невинные сердцем, – или что-нибудь в этом роде... вас понимают, то есть нет, – вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.

Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.

– И вы тоже, – продолжал он постепенно утихавшим голосом, – вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить... Нет, это все не то! Я не поэт, – промолвил он, – но что-нибудь в этом роде...

– Мне жаль, что и я не поэт, – заметил Лаврецкий.

– Пустые мечтанья! – возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.

Прошло несколько мгновений... Лаврецкий прислушался... «Звезды, чистые звезды, любовь», – шептал старик.

«Любовь», – повторил про себя Лаврецкий, задумался, – и тяжело стало у него на душе.

– Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорыч, – промолвил он громко, – а как вы полагаете, этот Фридолин, после того как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?

– Это вы так думаете, – возразил Лемм, – потому что, вероятно, опыт... – Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу.

Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю, передрассветную песню. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей; он вспомнил также тихое движение Лизиних глаз, когда, при первых его звуках, они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка, – проговорил он вполголоса, – чистые звезды», – прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать.

А Лемм долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его: он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения... но он не дождался ее...

– Не поэт и не музыкант! – прошептал он наконец...

И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.

XXIII

На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой.

– Маэстро! – сказал между прочим Лаврецкий. – Вам придется скоро сочинять торжественную кантату.

– По какому случаю?

– А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад.

– Этого не будет! – воскликнул Лемм.

– Почему?

– Потому что это невозможно. Впрочем, – прибавил он погодя немного, – на свете все возможно. Особенно здесь у вас, в России.

– Россию мы оставим пока в стороне; но что же дурного находите вы в этом браке?

– Все дурно, все. Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он... он дилетант, одним словом.

– Да ведь она его любит?

Лемм встал со скамейки.

– Нет, она его не любит, то есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит: любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей и девятнадцать лет: молится утром, молится вечером, – и это очень похвально; но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна.

Лемм произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.

– Дражайший маэстро! – воскликнул вдруг Лаврецкий. – Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.

Лемм вдруг остановился.

– Пожалуйста, – начал он неверным голосом, – не шутите так надо мною. Я не безумец: я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность.

Лаврецкому стало жаль старика; он попросил у него прощения. Лемм после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.

– Как вы думаете, Христофор Федорыч, – сказал он наконец, – ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету... Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой теткой, а? Вам это будет приятно?

Лемм наклонил голову над тарелкой.

– Пригласите, – проговорил он чуть слышно.

– А Паншина не надобно?

– Не надобно, – возразил старик с почти детской улыбкой.

Дня два спустя Федор Иваныч отправился в город к Калитиным.

XXIV

Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении; он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему: их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились; она успела уже привыкнуть к нему, – да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений, – и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», – подумала она, ласково глядя на него; «вот ты какая», – подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить.

– Не бойтесь, говорите, – промолвил он и остановился перед ней.

Лиза подняла на него свои ясные глаза.

– Вы такие добрые, – начала она и в то же время подумала: «Да, он точно добрый...»

– Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами... но как могли вы... отчего вы расстались с вашей женой?

Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней.

– Дитя мое, – заговорил он, – не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране; руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно.

– Я знаю, – продолжала Лиза, как будто не расслушав его, – она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать; но как же можно разлучать то, что Бог соединил?

– Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна, – произнес Лаврецкий довольно резко, – мы не пойдем друг друга.

Лиза побледнела; все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала.

– Вы должны простить, – промолвила она тихо, – если хотите, чтобы и вас простили.

– Простить! – подхватил Лаврецкий. – Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите? Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо! И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением... Да что тут толковать! Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо.

– Зачем оскорблять! – с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. – Вы сами ее оставили, Федор Иваныч.

– Но я же вам говорю, – возразил с невольным взрывом нетерпенья Лаврецкий, – вы не знаете, какое это создание!

– Так зачем же вы женились на ней? – прошептала Лиза и потупила глаза.

Лаврецкий быстро поднялся со стула.

– Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак! но поверьте, ни за что нельзя ручаться.

– И я могу так же быть несчастной, – промолвила Лиза (голос ее начал прерываться), – но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...

Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой.

– Не сердитесь, простите меня, – торопливо произнесла Лиза.

В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться.

– Постойте, – неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. – У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба: посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепьяно;

Лемм гостит у меня; сирень теперь цветет; вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день, – согласны вы?

Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид; но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от «тюленя», умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, все еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка; я виноват...» И ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ее тоже улыбнулись, – она до того мгновенья боялась, не оскорбила ли она его.

– Владимир Николаич с нами может ехать? – спросила Марья Дмитриевна.

– Конечно, – возразил Лаврецкий, – но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?

– Да ведь, кажется... – начала было Марья Дмитриевна. – Впрочем, как хотите, – прибавила она.

Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.

– Тяжело мне, свет, – сказала она, – кости старые ломать; и ночевать у тебя, чай, негде, да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет.

Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой; но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку; она задумалась, оставшись одна.

XXV

Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы; выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения; в них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, – а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за триста от города О... и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал, – кто это мог ожидать?» – и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений.

– Я, брат, – промолвил он, – завтра должен ехать; сегодня мы, уж ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила? (Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов.) Что касается до меня, я во многом изменился, брат: волны жизни упали на мою грудь, – кто бишь это сказал? – хотя в важном, существенном я не изменился; я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю, – я верую теперь, да – я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; в них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пиесу: в ней я выразил самые душевные мои убеждения. Слушай. – Михалевич принялся читать свое стихотворение; оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок, душою я стал:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал: легкие судороги – признак сильного чувства – пробежали по его широким губам, некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал... дух противоречия зашевелился в нем: его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди. С оника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных, – и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих: голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лемм, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться.

– Что же ты после этого? разочарованный? – кричал Михалевич в первом часу ночи.

– Разве разочарованные такие бывают? – возражал Лаврецкий, – те все бывают бледные и больные, – а хочешь, я тебя одной рукой подниму?

– Ну, если не *разочарованный*, то *скептык*, это еще хуже (выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией). А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не

повезло, положим; в этом твоей вины не было: ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин: первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.

– Она и тебя обманула, – заметил угрюмо Лаврецкий.

– Положим, положим; я был тут орудием судьбы, – впрочем, что это я вру, – судьбы тут нету; старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?

– Доказывает то, что меня с детства вывихнули.

– А ты себя вправь! на то ты человек, ты мужчина; энергии тебе не занимать стать! – Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно – частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?

– Какое тут правило? – перебил Лаврецкий. – Я не признаю...

– Нет, это твое правило, правило, – перебивал его в свою очередь Михалевич.

– Ты эгоист, вот что! – гремел он час спустя. – Ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя...

– Что такое самонаслажденье?

– И все тебя обмануло; все рухнуло под твоими ногами.

– Что такое самонаслажденье, спрашиваю я тебя?

– И оно должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке...

– Говори ясней, без сравнений, *ибо* я тебя не понимаю.

– Ибо, – пожалуй, смейся, – ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной; ум, все один только копеечный ум... ты просто жалкий, отсталый вольтериянец – вот ты кто!

– Кто, я вольтериянец?

– Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь.

– После этого, – воскликнул Лаврецкий, – я вправе сказать, что ты фанатик!

– Увы! – возразил с сокрушеньем Михалевич. – Я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования...

– Я теперь нашел, как тебя назвать, – кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи, – ты не скептик, не разочарованный, не вольтериянец, ты – байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек – и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать – и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что все, что люди ни делают, – все вздор и ни к чему не ведущая чепуха.

– Да с чего ты взял, что я лежу? – твердил Лаврецкий. – Почему ты предполагаешь во мне такие мысли?

– А сверх того, вы все, вся ваша братия, – продолжал неугомонный Михалевич, – начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, – и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница – лежу, а те, дураки, хлопчут. Да! А то есть у нас такие господа – впрочем, я это говорю не на твой счет, – которые всю жизнь свою проводят в каком-то мнении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как... как гриб в сметане, – подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. – О, это мнение скуки – гибель русских людей! Весь век собирается работать, противный байбак...

– Да что ж ты бранишься? – вопил в свою очередь Лаврецкий. – Работать... делать... Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен полтавский!

– Вишь, чего захотел! Это я тебе не скажу, брат; это всякий сам должен знать, – возражал с иронией Демосфен. – Помещик, дворянин – и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал; веры нет – и нет откровения.

– Дай же по крайней мере отдохнуть, черт; дай оглядеться, – молил Лаврецкий.

– Ни минуты отдыха, ни секунды! – возражал с повелительным движением руки Михалевич. – Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна.

– И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? – кричал он в четыре часа утра, но уже несколько осипшим голосом, – у нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим...

– Позволь мне тебе заметить, – промолвил Лаврецкий, – что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это, никак, уже трети кричат.

Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», – проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», – повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали... Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи.

Михалевич уехал на другой день, как ни удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться; но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности: сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух; приехавши, он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе «образованного человека». Со всем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании, – и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счета и писал стихотворения на всех своих возлюбленных; особенно пылко воспел он одну таинственную, чернокудрую «панну»... Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам... но, как подумаешь, – разве это не все равно?

С Леммом Михалевич не сошелся: немца, с непривычки, запугали его многошумные речи, его резкие манеры... Горемыка издала тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это несколько не удивительно: ему с ним нечем делиться, – даже надеждами.

Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, – и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины...

– С черной лилией, во всяком случае, – заметил Лаврецкий.

– Э, брат, не аристократничай, – возразил добродушно Михалевич, – а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии...

– Спасибо, брат, – промолвил Лаврецкий, – с меня будет этих неземных существ.

– Молчи, *цынык!* – воскликнул Михалевич.

– «Циник», – поправил его Лаврецкий.

– Именно цынык, – повторил, не смущаясь, Михалевич.

Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил; окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись нако-

нец... «Помни мои последние три слова, – закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе, – религия, прогресс, человечность!.. Прощай!» Голова его, с нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце – и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав, – думал он, возвращаясь в дом, – пожалуй, что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может.

XXVI

Два дня спустя Марья Дмитриевна, по обещанию, прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея, по старинной дворовой привычке, подошли к ней к ручке, – и расслабленным голосом, в нос, попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое: твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны – и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило и обрадовало старика: ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знают. Впрочем, не он один волновался в тот день: Лемм волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось: она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лемм достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепьяно. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепьяно и разобрала романс... Увы! музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной; видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло: усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали – и Лемм это понял: ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и, в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь – баста!» – сгорбился, съежился и отошел.

К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега, в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку; Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Иванычу следующей фразой на институтско-французском языке: «Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois»²⁰. Лемм с двумя девочками отправился подалее, к самой плотине; Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно; выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками; радостные восклицания девочек не умолкали; сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы; вероятно, это происходило оттого, что они меньше других обращали внимания на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту; Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты; на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой; соломенная шляпа висела у ней на одной руке, – другою она с некоторым усилием поддерживала гнупкое удилице. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачи-

²⁰ Теперь больше нет людей таких, как бывало (*фр.*).

валась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих.

– А знаете ли, – начал Лаврецкий, – я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры.

– Я совсем не с тем намерением... – возразила было Лиза – и застыдилась.

– Вы добры, – повторил Лаврецкий. – Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемм; он просто влюблен в вас.

Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули; это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное.

– Очень он мне был жалок сегодня, – подхватил Лаврецкий, – с своим неудавшимся романом. Быть молодым и не уметь – это сносно; но состариться и не быть в силах – это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары!.. Берегитесь, у вас клюет... Говорят, – прибавил Лаврецкий, помолчав немного, – Владимир Николаич написал очень милый романс.

– Да, – отвечала Лиза, – это безделка, но недурная.

– А как, по-вашему, – спросил Лаврецкий, – хороший он музыкант?

– Мне кажется, у него большие способности к музыке; но он до сих пор не занимался ею как следует.

– Так. А человек он хороший?

Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Иваныча.

– Какой странный вопрос! – воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова.

– Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас как человек, недавно сюда приехавший, как родственник.

– Как родственник?

– Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей?

– У Владимира Николаича доброе сердце, – заговорила Лиза, – он умен; татап его очень любит.

– А вы его любите?

– Он хороший человек; отчего же мне его не любить?

– А! – промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. – Ну и дай Бог им счастья! – пробормотал он наконец, как будто про себя, и отворотил голову.

Лиза покраснела.

– Вы ошибаетесь, Федор Иваныч, – сказала она, – вы напрасно думаете... А разве вам Владимир Николаич не нравится? – спросила она вдруг.

– Не нравится.

– Отчего же?

– Мне кажется, сердца-то у него и нету.

Улыбка сошла с лица Лизы.

– Вы привыкли строго судить людей, – промолвила она после долгого молчанья.

– Я не думаю. Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?.. А что, – прибавил он, – сдержали вы свое обещание?

– Какое?

– Помолились вы за меня?

– Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом.

Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства...

– Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть.

Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.

– Какое это вы промолвили слово! – сказал он.

– Это слово не мое, – отвечала она.

– Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

– Не знаю. Я часто о ней думаю.

– Часто?

– Да.

– Этого не скажешь, глядя на вас теперь: у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь...

– Да, мне очень весело теперь, – наивно возразила Лиза.

Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их...

– Лиза, Лиза, – закричала Марья Дмитриевна, – поди сюда, посмотри, какого карася я поймала.

– Сейчас, татап, – отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей раките. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», – думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку; с странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот.

– Почему же вам кажется, что у Владимира Николаича сердца нет? – спросила она несколько мгновений спустя.

– Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впрочем, время все покажет.

Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне; он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу: она так мило, так внимательно его слушала; ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это.

Лиза удивилась.

– Право? – промолвила она. – А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, *своих* слов нет. Она однажды сказала своему жениху: тебе должно быть скучно со мною; ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету.

«И слава богу!» – подумал Лаврецкий.

XXVII

Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма; но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось ужение. Антон, с замечательной для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза; на передних – девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы – он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади – и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатила дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его; все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали, – а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, – все покоилось; молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твердым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольною струей в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем, – думал он, – не совсем еще нас заела. . .» Он не договорил: кто или что. . . Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина; что встретиться он с ней при других обстоятельствах, – Бог знает, что могло бы из этого выйти; что он понимает Лемма, хотя у ней «своих» слов нет. Да и это неправда: у ней есть свои слова. . . «Не говорите об этом легкомысленно», – вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понунив голову, потом выпрямился, медленно произнес:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.